

## *Содержание*

*В. Бокова*  
История и художник

7

Том первый

19

Том второй

421

Примечания

841

## История и художник

В начале был роман “Декабристы”.

Его замысел увлек Льва Толстого еще в 1856–1857 годах, в пылкую и молодую пору самого начала царствования Александра II. Это было время восторгов и надежд, когда русское общество, долго и вынужденно молчавшее при Николае, вдруг ожило, задвигалось, задышало и заговорило — о позоре Крымского поражения, о язвах государственного строя, о назревшей “эмансипации” крепостных, о необходимости реформ. Вдруг народилось великое множество “вопросов” — крестьянский, женский, национальный, студенческий — и они требовали безотлагательного решения. Все писали или обдумывали проекты преобразований (и Лев Толстой в их числе), все обсуждали ранее запретные темы и яростно спорили об истине.

Литература вымысла в этих условиях резко утратила популярность. Читатель желал публицистики, злобы дня и документа. В моду вошли исторические очерки, хроники, мемуары, биографии, особенно относящиеся к недавнему прошлому, — благо цензура смягчилась и многие ранее “непроходные” сюжеты стали дозволенными. Наступила “оттепель” и “гласность”.

В августе 1856 г. была объявлена амнистия политическим преступникам, и из Сибири стали возвращаться старики-декабристы.

Все это обратило мысли Толстого к историческому жанру.

Для него вторая половина 1850-х и начало 1860-х годов были непростым временем: все, что выходило в свет после “Детства” и “Севастопольских рассказов”, не имело успеха ни у публики, ни у критики, и Толстой то фиксировал новые замыслы, то подумывал вовсе бросить литературу, то вновь зарывался в книги, собирая рабочий материал.

За время этого кризиса он женился, поработал мировым посредником, поучил детей в Яснополянской школе, стал издателем собственного журнала, написал “Казаков”, начал “Холстомера” (который смог закончить лишь через двадцать лет) и все время обдумывал большой роман. Роман он задумал построить на современном материале, и его следовало делать ярко-публицистическим, обращенным к реалиям дня (именно такие романы вскоре вышли из-под пера Тургенева, Писемского, Лескова и иных маститых). Этот путь Толстому не импонировал. Пережив короткий период либеральных увлечений, он довольно быстро остыл, поугас и смотрел на общественную суету скептически и даже с некоторым раздражением.

Иное дело — история. Исторический жанр давал возможность и ответа, и скрытого противостояния современности. И Толстой усердно собирал материалы для романа о декабристах. Роман должен был строиться на противопоставлении вернувшегося из ссылки старого декабриста, сохранившего в изгнании душевную свежесть и ясность, но “отставшего от веяний”, и окружающей его шумной и бестолковой современности, с ее “цивилизацией, прогрессом, вопросами, возрождением России” и пр. Антиподом главного героя должен был выступить его былой соратник, некогда “изменивший своему богу”, избежавший наказания и теперь прекратившийся в “нравственную руину”.

Примерившись к теме, Толстой уже начал кое-что набрасывать, но... вскоре бросил, потому что понял: вернувшийся из ссылки декабрист не может быть оторван от 1825 года, когда решилась его судьба, а само восстание — лишь итог еще более ранних исторических событий. И вот Толстой “неволью от настоящего (т.е. от 1856 г.) перешел к 1825 г., эпохе заблуждений и несчастий” героя, а затем “другой раз бросил начатое и стал вести повествование со времени 1812 года”.

В итоге, как будто случайно (как писал со слов самого Толстого литератор П.А. Сергеевко), в виде вступления к “Декабристам” был написан роман “Война и мир”, в котором тень декабря 1825 года лишь мелькает на страницах первой части эпилога.

Закончив “Войну и мир”, Толстой вновь вернулся к “Декабристам” — снова собирал материал, прикидывал, спрашивал очевидцев... да так и бросил. Перегорел. “Декабристы” так и остались ненаписанными.

Не будучи современником событий, Толстой любил эпоху Отечественной войны 1812 года с самого детства. Однажды он заметил, что всегда чувствовал в себе “инстинкт 1812 года”, а в одном из вариантов начала романа писал, что речь в нем пойдет “о том времени, которое еще цепью воспоминаний связано с нашим, которого неуловимый характер, запах и звук, соединяясь с особенной прелестью прошедшего и детства, так мило знакомы нам”.

В начале 1850-х гг. “не без удовольствия” прочитав главную на тот момент историческую работу по теме — “Описание Отечественной войны 1812 года” А.И. Михайловского-Данилевского, Толстой записал в Дневнике: “Есть мало эпох в истории, столь поучительных, как эта, и столь мало обсуженных — обсуженных беспристрастно и верно”.

Уже в 1853 г. кое-какие его размышления о 1812 годе отразились в рассказе “Набег”, где картинная напыщенная храбрость наполеоновских героев противопоставляется повседневному будничному героизму русского офицера, — эта идея стала своеобразным зародышем одной из главных идей “Войны и мира”.

Через десять лет, приступая к работе над романом (сюжет которого вскоре переносится во времени к предыстории Отечественной войны — событиям 1805 года) и снова критически взглянув на авторитетные труды и свидетельства, Толстой пришел к выводу, что мнения историков и очевидцев противоречат друг другу; да и вообще — то прошедшее, о котором он намеревался писать, освещено совершенно неверно, превратно, “навыворот” тому, что, как казалось писателю, происходило в действительности. Позднее он объяснял: “Объездите все войска тотчас после сражения, даже на другой, третий день, до тех пор, пока не написаны реляции, и спрашивайте у всех солдат, у старших и низших начальников о том, как было дело; вам будут рассказывать то, что испытали и видели все эти люди, и в вас образуется величественное, сложное, до бесконечности разнообразное и тяжелое, неясное впечатление; и ни от кого, еще менее от главнокомандующего, вы не узнаете, как было всё дело. Но через два-три дня начинают подавать реляции, говоруны начинают рассказывать, как было то, чего они не видали; наконец, составляется общее донесение, и по этому донесению составляется общее мнение армии. ...Через месяц и два расспрашивайте человека, участвующего в

сражении, — уж вы не чувствуете в его рассказе того сырого жизненного материала, который был прежде, а он рассказывает по реляции. Так рассказывали мне про Бородинское сражение многие живые, умные участники этого дела. Все рассказывали одно и то же, и все по неверному описанию Михайловского-Данилевского, по Глинке и др., даже подробности, которые рассказывали они, несмотря на то, что рассказчики находились на расстоянии нескольких верст друг от друга, одни и те же.

После потери Севастополя начальник артиллерии Крыжановский прислал мне донесения артиллерийских офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих более чем 20-ти донесений — одно. Я жалею, что не списал этих донесений. Это был лучший образец той наивной необходимой военной лжи, из которой составляются описания...

Все это я говорю к тому, чтобы показать неизбежность лжи в военных описаниях, служащих материалом для военных историков”.

Убедившись в этой истине, Толстой “неволью почувствовал необходимость доказывать” то, что говорил, и “высказывать те взгляды”, на основании которых писал. Все последующие годы, ушедшие на создание романа, он работал с “мучительным и радостным упорством и волнением”, шаг за шагом открывая то, что он считал правдой.

Роман должен был противостоять и научному педантизму с его устоявшимися историческими схемами и казенной бравурностью, и бурной пореформенной современности со всеми ее “вопросами”, “направлениями”, “реализмом”, “материализмом”, “либерализмом”, “женской эмансипацией” и прочей тенденциозностью. Он должен был вместить и проведенные Толстым изыскания, и “целую библиотеку книг”, и семейные предания, и трагический опыт Севастополя, и мелочи яснополянской жизни, и накопленный духовный опыт, и постепенно сложившуюся историософскую концепцию.

Война 1812 г., по Толстому, — это эпизод в великом движении народов с Запада на Восток и обратно в 1793–1814 годах, причины которого, как и причины исторических событий вообще, иррациональны и непостижимы. История стихийна и подчинена высшим неведомым законам; все — и “гении” (чья гениальность

для Толстого, мягко говоря, относительно), и толпа — лишь игрушка мировой стихии. Всякое событие — следствие сцепления миллионов сознательных и неосознанных стремлений, повлиять на которые не в силах ни один человек. Поэтому всякая власть иллюзорна и даже бесполезна, а единственной заслугой человека могла быть способность понять и почувствовать суть происходящего. Интуиция настолько же выше рассудка, насколько художественная правда выше историзма.

С этой позиции одобрение Толстого заслуживал Кутузов, который “презирал ум, и знание, и даже патриотическое чувство... Он презирал их своей старостью, своей опытностью жизни”, а ценил лишь “терпение и время”, которые единственные могли вывести события в правильное, фатально predetermined русло.

С этой же позиции Толстой одобрял помещичьи труды Николая Ростова, который, начав хозяйствовать, присматривался к мужику, который “представлялся ему не только орудием, но и целью и судьей. Он сначала всматривался в мужика, стараясь понять, что ему нужно, что он считает дурным и хорошим, и только притворялся, что распоряжается и приказывает, в сущности же только учился у мужиков и приемам, и речам, и суждениям о том, что хорошо и что дурно. И только тогда, когда понял вкусы и стремления мужика, научился говорить его речью и понимать тайный смысл его речи, когда почувствовал себя сроднившимся с ним, только тогда стал он смело управлять им, то есть исполнять по отношению к мужикам ту самую должность, выполнение которой от него требовалось. И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты”.

Достоинство мыслящего человека — в том, чтобы уловить своеобразный “дух” стихийного движения, воплощенный в устремлениях народной массы. Народ же для Толстого — это своего рода одушевленное бессознательное, состоящее из существ, способных чувствовать, действовать, говорить, но не рассуждать. В олицетворении этой народной стихии — Платоне Каратаеве — романист особенно подчеркивал эту интуитивность существования, полное отсутствие личности, индивидуального начала: “Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела

смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова”.

Работа над “Войной и миром” заняла у Толстого семь лет. Все это время роман развивался сюжетно, обрстал персонажами. Если Пьер с автобиографическими чертами самого Толстого, Наташа, Николай, старый князь Болконский с дочерью присутствовали в нем (часто под разными именами) с самого начала, то появление князя Андрея оказалось достаточно случайным: автору потребовалось описать Аустерлицкое сражение<sup>1</sup>, в котором, как он решил, будет убит блестящий молодой человек. Принести в жертву персонаж, совсем уж посторонний роману, было как-то несподручно, и Толстой придумал, что молодой офицер — это сын старого князя. Ну, а потом уже Толстой “помиловал” Болконского и не только включил его в сюжетную канву на важные роли, но и сделал рупором многих собственных мыслей — особенно о войне.

Большинство персонажей романа — не только реально существовавших, но и вымышленных, — было списано с натуры или с фамильных портретов. Легко угадывались и родители Толстого — в Николае Ростове и княжне Марье, и деды: кн. Н.С. Волконский — в старике Болконском, граф И.А. Толстой — в графе Ростове, и все семейство Берсов (родни Софьи Андреевны Толстой) в полном составе. Лиза Берс послужила основой для образа Веры, мать семейства — для старой графини, а Наташу Толстой списывал с двух сестер — Софьи Андреевны и Татьяны Берс-Кузьминской (даже лысая ее кукла Мими попала на страницы романа). Мастер вообще легче и охотнее работал с натурным, а не с воображаемым материалом: такого рода письмо наполняло персонаж яркими, живыми красками, освещенными толстовской магией. Толстой считал себя неважным выдумщиком, зато в наблюдательности и силе художественного воздействия ему не было равных.

Вопреки легенде, Софья Андреевна Толстая не переписывала всего романа ни шесть, ни семь раз. Какое-то его части, раз воз-

<sup>1</sup> Аустерлицкое сражение — решающее сражение между российско-австрийской и французской армиями во время военной кампании 1805 г. около города Аустерлиц (в настоящее время Славков, Чехия).

никнув, сразу заняли свое место; другие переписывались автором и десять, и двадцать раз, — бесконечно (одних вариантов начала сохранилось пятнадцать).

Долго не приходило название. Сначала было “Три поры”, потом — “Что хорошо, то хорошо кончается”; еще позднее — “Тысяча восемьсот пятый год”. Под этим заголовком первые книги романа были опубликованы в журнале “Русский вестник” за 1865–1866 гг. И лишь поставив последнюю точку в первой завершенной редакции, Толстой нашел, наконец, окончательную формулу: “Война и мир”.

В старой русской орфографии слово “мир” имело два варианта — “мир” и “мір”. “Миром” называлось “отсутствие ссоры, вражды, несогласия, войны... тишина, покой; “міром” — “вселенная... наша земля, земной шар, все люди, весь свет, род человеческий”. (В.И. Даль).

Такое название — “Война и вселенная”, “Война и человечество” — гораздо больше соответствовало идее и пафосу романа, чем наше нынешнее понимание: противопоставление (или сопоставление) мирной и военной жизни.

Впрочем, под авторским названием книга увидела свет лишь однажды — в 1913 году. Все остальные издания и при жизни Толстого, и впоследствии выходили как “Война и мир”: на какой-то стадии издательского процесса произошла замена и буквы, и смысла.

Все время, пока роман печатался в журнале, и позже, когда готовилось отдельное издание (первые три книги вышли в декабре 1867 г.), Толстой продолжал править и переписывать текст, чем повергал своего издателя П.И. Бартенева в неопишуемые мучения. “Вы бог знает что делаете! — кричал Бартенев. — Этак мы никогда не кончим поправок и печатания!” — “Не марать так, как я мараю, — отвечал Толстой, — я не могу и твердо знаю, что маранье это идет в великую пользу... То именно, что вам нравится, было бы много хуже, ежели бы не было раз пять перемарано”.

И действительно, именно в процессе последней переработки и правки корректур родился, наконец, тот роман, которому суждено было прославить и Толстого, и всю русскую литературу. Именно на этой, последней, стадии в книге появился Платон Каратаев, был написан эпилог, продлевающий историю героев еще на восемь лет, исчезли многословные описания сражений под



Кремсом, Амштеттеном, Ламбахом<sup>1</sup>, анализ плана сражения под Аустерлицем, многие историософские ремарки. Вообще роман как будто “подсох” и “подобрался”: исчезли длинноты, многие характеристики стали четче, диалоги конкретнее... И если журнальную редакцию публика встретила довольно прохладно (одна из умнейших женщин эпохи графиня А.Д. Блудова писала после первых номеров публикации П.В. Анненкову: “1805 год” Толстого не слишком нравится мне, — больше плохого французского языка, чем русского, и несвязные разговоры без всякого интереса. — Может быть, это только введение в роман, но скучновато — а князь Вяземский говорит, что даже и неверно. Если лица вымышленные, то безжизненные. — Если портреты, то не довольно похожи, чтобы можно было *annoncer de masques*”), то книжное издание ожидал совсем иной прием. Его читали жадно — “во всех сферах общества, даже там, где ничего не читалось”, как писал современник, — и почти сразу полюбили.

Зато критика встретила роман (первые отзывы пошли еще на журнальный вариант), можно сказать, воинственно. “Читая военные сцены романа, постоянно кажется, что ограниченный, но речистый унтер-офицер рассказывает о своих впечатлениях в глухой наивной деревне”, — писал В.В. Берви-Флеровский, бывший когда-то соучеником Толстого по Казанскому университету.

Не принята была ни “рваная” (как потом писали, “монтажно-кинематографическая) композиция, ни новаторская форма (ни хроника, ни исторический роман), ни философия романа. Военных раздражали ошибки в названиях и передвижениях полков, чинах, должностях, титулах, наградах, описаниях мундиров, и военно-теоретические размышления, “не выдерживающие самой снисходительной критики по своей односторонности”; современников событий — “сомнительные”, а то и просто уничижительные, на их взгляд, характеристики исторических лиц. “Если нельзя всегда быть фотографом, то должно, по крайней мере, быть строгим историческим живописцем, — писал князь П.А. Вяземский, — а не живописцем фантастическим и юмористическим. С историей надлежит обращаться добросовестно, почтительно и с любовью. Не

1 Кремс, Амштеттен, Ламбах — населенные пункты на территории Австрии, где происходили сражения между французскими и русскими войсками во время военной кампании 1805 г.

святотатственно ли да и не противно ли всем условиям литературного благоприличия и вкуса низводить историческую картину до карикатуры и пошлости?».

Правые ругали роман за “очернительство” и отсутствие патриотизма; левые — за “апологию барства и крепостничества”, дамы-эмансипантки — за домостроевское отношение к женщине, и т.п. Были, конечно, и одобрительные отзывы, но их было намного меньше.

От критиков не отставали и братья-писатели. А.А. Фета покорибил натурализм отдельных сцен, нарушающий художественную гармонию. М.Е. Салтыков-Щедрин, по слухам, сказал: “Эти военные сцены — одна ложь и суесть. Багратион и Кутузов — кукольные генералы. А вообще — болтовня нянюшек и мамушек. А вот наше так называемое “высшее общество” граф лихо прохватил”.

И.С. Тургенев писал: “Толстой поражает читателя носком сапога Александра, смехом Сперанского, заставляя думать, что он все об этом знает, коли даже до этих мелочей дошел, — а он и знает только что эти мелочи... Настоящего развития нет ни в одном характере, а есть старая замашка передавать колебания, вибрации одного и того же чувства, положения...” И в другом месте: “Отчего это у него непременно все хорошие женщины — не только самки — даже дуры? И почему он старается уверить читателя, что коли женщина умна и развита, то непременно фразерка и лгунья?.. И почему все порядочные люди у него тоже какие-то чурбаны — с малой толикой родства?”.

Решительно, возникает впечатление, что все эти господа читали какую-то другую книгу.

Как писала когда-то Л.Я. Гинзбург: “Рецензии на “Войну и мир” похожи сейчас на хулиганство. Никто (кроме Страхова) ничего не понял”. Н.Н. Страхов, действительно, почувствовал и уникальный характер книги и ее эстетическую особость. Тонкие наблюдения сделали П.В. Анненков и Н.И. Соловьев. Понравился роман Н.С. Лескову. Высоко оценивал правдоподобие военных сцен и армейской психологии известный военный теоретик М.И. Драгомиров, но все же настоящую, достойную оценку книга Толстого еще не получила. Как все великое, она могла быть оценена лишь спустя годы.

Поначалу Толстой пытался оправдываться. “Характер времени, как мне выражали некоторые читатели при появлении в печа-

ти первой части, недостаточно определен в моем сочинении. На этот упрек я имею возразить следующее. Я знаю, в чем состоит тот характер времени, которого не находят в моем романе, — это ужасы крепостного права, закладывание жен в стены, сечение взрослых сыновей, Салтычиха и т.п.; и этот характер того времени, который живет в нашем представлении, — я не считаю верным и не желал выразить. Изучая письма, дневники, предания, я не находил всех ужасов этого буйства в большей степени, чем нахожу их теперь или когда-либо...

Разногласие мое в описании исторических событий с рассказами историков. Оно не случайное, а неизбежное. Историк и художник, описывая историческую эпоху, имеют два совершенно различные предмета. Как историк будет неправ, ежели он будет пытаться представить историческое лицо во всей его цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам жизни, так и художник не исполнит своего дела, представляя лицо всегда в его значении историческом. Кутузов не всегда с зрительной трубкой, указывая на врагов, ехал на белой лошади. Ростопчин не всегда с факелом зажигал Вороновский дом<sup>1</sup> (он вообще этого никогда не делал), и императрица Мария Феодоровна не всегда стояла в горностаевой мантии, опершись рукой на свод законов, — а такими их представляет народное воображение.

Для историка, в смысле содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели, есть герои; для художника, в смысле ответственности этого лица всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди”.

Потом, увлеченный другими идеями, Толстой махнул рукой на критиков.

“Критические войны” еще побушевали немного и стихли.

Через несколько лет в России выросло уже целое поколение людей, прочитавших и полюбивших “Войну и мир”, и которым казалось, что этот роман был всегда. К этой поре и масштаб таланта Толстого уже не вызывал сомнений, и тот же Тургенев теперь уже аттестовал его главную книгу, как “великое произведение великого писателя”. Роман прочли во Франции, других странах.

<sup>1</sup> Вороново — усадьба в подмосковном селе (Подольский район), принадлежавшая с первой четверти XVII в. графу А. И. Воронову-Вольнскому; с 1800 г. — владение Ф.В. Ростопчина.

“Новый Шекспир”, “современный Гомер” обрел мировую славу, а с ней и бессмертие. “Анна Каренина”, “Исповедь”, толстовство, всемирное паломничество в Ясную Поляну, великий уход и прочие составляющие образа, — всего этого могло бы уже не быть, а Толстой все равно остался бы Толстым.

О гениальности “Войны и мира” давным-давно никто не дискутирует — она более чем очевидна.

Историософия Толстого, пронизывающая роман, также “узаконена” и “реабилитирована”, как составная часть сложного мировоззрения великого мастера, и является мирным предметом чисто академических штудий.

А вот об историческом правдоподобии романа спорят до сих пор: перечисляют ошибки и несурзности, пеняют на невнимательность, на сюжетные натяжки, на явные анахронизмы.

Все это действительно присутствует в романе. Как и всякий исторический романист, Толстой вовсе не был doskonaльным знатком и арбитром изображаемой эпохи. Маловероятно даже, что он действительно проштудировал от корки до корки все те 74 книги, которые приобрел в свою библиотеку в качестве подсобного материала. Как всякий художник, Толстой, уяснив себе общую картину, дальше искал уже либо бытовые и психологические детали, либо общие утверждения, с которыми намеревался полемизировать. Как указывал когда-то известный биограф писателя Б.М. Эйхенбаум: “Толстой читал и выбирал исторический материал только до того момента, когда ему становилось ясно, что с ним делать, и только для того, чтобы иллюстрировать то, что ему хотелось доказать”. Это был именно подход художника, а не исследователя. Он путался, пропускал факты по невнимательности, что-то забывал (при таком-то объеме!), что-то умышленно натягивал в интересах композиционного единства или общего гуманистического пафоса книги. Любая из его ошибок, допусти ее дюжинный литератор, не вызвала бы ничего, кроме справедливого негодования. Но дюжинному литератору и следует быть точным с фактами. Книжка еще, может быть, будет так себе, но зато точна во всех деталях — все-таки достоинство.

Льву Толстому скрупулезная точность, в общем-то, не очень и нужна. Можно сколько угодно повторять, что Лиза Болконская не могла быть беременна пятнадцать месяцев подряд, что Кутузов

под Аустерлицем был ранен не в щеку, а в бровь, что полк Николая Ростова не участвовал в бою под Островно, но был в деле при Городечне<sup>1</sup>, что фрейлина Шерер (по определению — девица) не могла держать салон, потому что незамужней даме, даже очень пожилой, нельзя было в те времена принимать к себе вечером мужчин, а на фрейлинской “жилплощади” при дворе и не могло поместиться одновременно больше двух-трех человек, что Александр I никогда не стал бы кидать в толпу бисквиты, потому что не так был воспитан и имел деликатный характер, что в 1812 году никто (включая Элен Безухову) во всей России не переходил и не мог перейти в католичество, и так далее, и тому подобное, но созданная Толстым реальность настолько убедительна, что описанную им эпоху мы уже просто не можем представлять себе как-то иначе. Его герои давно уже затмили собой исторические персонажи. Прогуляйтесь со своим гостем по Москве. Покажите ему дома Ермолова, Коновницына, реальных героев 1812-го года, и он скользнет по ним вежливо-равнодушным взглядом. Но этот же человек по-детски обрадуется, узнав, что вот здесь, в этом самом здании Пьер Безухов поссорился в Долоховым, тут жили Ростовы, а вон там — старик Болконский. Для нас все они — знакомые и близкие люди, неизмеримо более живые и реальные, чем те бледные тени, которые сходят со страниц учебников и научных монографий.

Есть немало людей, которые именно после “Войны и мира” все-речь, на всю жизнь, заболели историей Отечественной войны или “просто” Историей, — и все это тоже жизнь толстовского романа.

Толстому, который путает факты, выдумывает фактуру, допускает разные несуразности и дает произвольные характеристики историческим лицам, — Толстому мы верим безоговорочно, потому что за ним стоит вещь значительно более важная, чем педантичное следование фактам, — художественная правда. И с ее помощью художник Толстой оказывается если и не выше, то уж точно вровень с Историей. Правда, для того, чтобы стать выше факта, нужно все-таки быть Толстым.

*Вера Бокова*

1 Островно, Городечна — населенные пункты в Белоруссии, близ которых произошли сражения летом 1812 года.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

— Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous previens, que si vous ne me dites pas, que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) — je ne voue connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus мой верный раб, comme vous dites<sup>1</sup>. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur<sup>2</sup>, садитесь и рассказывайте.

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был *grippe*, как она говорила (*grippe* был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими). В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех:

“Si vous n'avez rien de mieux à faire, Monsieur le comte (или mon prince), et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre

1 Ну, князь, Генуя и Лукка — поместья фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Антихрист), — я вас больше не знаю, вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите (*фр.*) <Переводы, за исключением специально отмеченных, принадлежат Л.Н. Толстому; переводы с французского языка не оговариваются>.

2 Я вижу, что я вас пугаю.

malade no vous effray pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. *Annette Scherer*<sup>1</sup>.

— Dieu, quelle virulente sortie!<sup>2</sup> — отвечал, несколько не смутясь такую встречей, вошедший князь, в придворном, шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица.

Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состарившемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване.

— Avant tout dites moi, comment vous allez, chère amie?<sup>3</sup> Успокойте меня, — сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка.

— Как можно быть здоровой... когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время? — сказала Анна Павловна. — Вы весь вечер у меня, надеюсь?

— А праздник английского посланника? Нынче среда. Мне надо показаться там, — сказал князь. — Дочь заедет за мной и повезет меня.

— Я думала, что нынешний праздник отменен. Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d'artifice commencent à devenir insipides<sup>4</sup>.

— Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили, — сказал князь, по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.

1 Если у вас, граф (или князь), нет в виду ничего лучшего и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между семью и десятью часами. *Анна Шерер*.

2 Господи, какое горячее нападение!

3 Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг.

4 Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны.

— Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on décidé par rapport à la dépêche de Novosilzoff? Vous savez tout<sup>1</sup>.

— Как вам сказать? — сказал князь холодным, скучающим тоном. — Qu'a-t-on décidé? On a décidé que Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brûler les notres<sup>2</sup>.

Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов.

Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.

В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась.

— Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?.. Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Маль-

1 Не мучьте меня. Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы всё знаете.

2 Что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши.



ту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могут понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет! Пруссия уже объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него... И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаутвицу. *Cette fameuse neutralité prussienne, ce n'est qu'un piège*<sup>1</sup>. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!.. — Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своею горячностью.

— Я думаю, — сказал князь, улыбаясь, — что, ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю?

— Сейчас. А *groros*, — прибавила она, опять успокоиваясь, — нынче у меня два очень интересные человека, *le vicomte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les Rohans*<sup>2</sup>, одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. И потом *l'abbé Moïse*<sup>3</sup>; вы знаете этот глубокий ум? Он был принят государем. Вы знаете?

— А! Я очень рад буду, — сказал князь. — Скажите, — прибавил он, как будто только что вспомнив что-то и особенно-небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главной целью его посещения, — правда, что *l'impératrice-mère*<sup>4</sup> желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? *C'est un pauvre sire, ce baron, à ce qu'il paraît*<sup>5</sup>. — Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Феодоровну старались доставить барону.

Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице.

1 Этот пресловутый нейтралитет Пруссии — только западня.

2 Кстати, — виконт Мортемар, он в родстве с Монморанси через Роганов.

3 аббат Морно.

4 вдовствующая императрица.

5 Барон этот ничтожное существо, как кажется.

— Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l'impératrice-mère par sa soeur<sup>1</sup>, — только сказала она грустным, сухим тоном. В то время как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволила оказать барону Функе beaucoup d'estime<sup>2</sup>, и опять взгляд ее подернулся грустью.

Князь равнодушно замолк. Анна Павловна, с свойственною ей придворною и женскою ловкостью и быстротою такта, захотела и щелкнуть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его.

— Mais à propos de votre famille, — сказала она, — знаете ли, что ваша дочь, с тех пор как выезжает, fait les délices de tout le monde. On la trouve belle, comme le jour<sup>3</sup>.

Князь наклонился в знак уважения и признательности.

— Я часто думаю, — продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается задушевный, — я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастье жизни. За что вам дала судьба таких двух славных детей (исключая Анатоля, вашего меньшого, я его не люблю, — вставила она безапелляционно, приподняв брови) — таких прелестных детей? А вы, право, менее всех цените их и потому их не стоите.

И она улыбнулась своею восторженною улыбкой.

— Que voulez-vous? Lafater aurait dit que je n'ai pas la bosse de la paternité<sup>4</sup>, — сказал князь.

1 Барон Функе рекомендован императрице-матери ее сестрою.

2 много уважения.

3 Кстати о вашем семействе... составляет наслаждение всего общества. Ее находят прекрасною, как день.

4 Что делать! Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви.

— Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Между нами будь сказано (лицо ее приняло грустное выражение), о нем говорили у ее величества и жалеют вас...

Князь не отвечал, но она молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился.

— Что ж мне делать? — сказал он наконец. — Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли *des imbéciles*<sup>1</sup>. Ипполит по крайней мере покойный дурак, а Анатолий — беспокойный. Вот одно различие, — сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно-грубое и неприятное.

— И зачем рождаются дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, — сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза.

— *Je suis votre верный раб, et à vous seule je puis l'avouer.* Мои дети — *ce sont les entraves de mon existence*<sup>2</sup>. Это мой крест. Я так себе объясняю. *Que voulez vous?*<sup>3</sup> — Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе.

Анна Павловна задумалась.

— Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатолия. Говорят, — сказала она, что старые девицы *ont la manie des mariages*<sup>4</sup>. Я еще не чувствую за собою этой слабости, но у меня есть одна *petite personne*, которая очень несчастлива с отцом, *une parente à nous, une princesse*<sup>5</sup> Болконская. — Князь Василий не отвечал, хотя с свойственной светским людям быстротой соображения и памятью движеньем головы показал, что он принял к соображенью это сведенье.

1 дурни.

2 Я ваш... и вам одним могу признаться. Мои дети — обуза моего существования.

3 Что делать?..

4 имеют манию женить.

5 девушка... наша родственница, княжна.

— Нет, вы знаете ли, что этот Анатолий мне стоит сорок тысяч в год, — сказал он, видимо не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал.

— Что будет через пять лет, ежели это пойдет так? Voilà l'avantage d'être règne<sup>1</sup>. Она богата, ваша княжна?

— Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. La pauvre petite est malheureuse, comme les pierres<sup>2</sup>. У нее брат, вот что недавно женился на Lise Мейнен, адъютант Кутузова. Он будет нынче у меня.

— Ecoutez, chère Annette<sup>3</sup>, — сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то книзу. — Arrangez-moi cette affaire et je suis votre вернейший раб à tout jamais (ран — comme mon староста m'écrit des<sup>4</sup> донесенья: покой-ер-п). Она хорошей фамилии и богата. Все, что мне нужно.

И он с теми свободными и фамильярными грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинскою рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону.

— Attendez<sup>5</sup>, — сказала Анна Павловна соображая. — Я нынче же поговорю с Lise (la femme du jeune Болконский)<sup>6</sup>. И, может быть, это уладится. Ce sera dans votre famille, que je ferai mon apprentissage de vieille fille<sup>7</sup>.

## II

Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнород-

1 Вот выгода быть отцом.

2 Бедняжка несчастлива, как камни.

3 Послушайте, милая Анет.

4 Устройте мне это дело, и я навсегда ваш... как мой староста мне пишет.

5 Постойте.

6 Лизе (жене Болконского).

7 Я в вашем семействе начну обучаться ремеслу старой девицы.

ные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили; приехала дочь князя Василия, красавица Элен, захавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная, как *la femme la plus séduisante de Pétersbourg*<sup>1</sup>, молодая, маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в *большой* свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил; приехал и аббат Марио и многие другие.

— Вы не видали еще, — или: — вы не знакомы с *ma tante*?<sup>2</sup> — говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости, называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на *ma tante*, и потом отходила.

Все гости совершали обряд приветствования никому не известной, никому не интересной и не нужной тетушке. Анна Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. *Ma tante* каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава Богу, лучше. Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности отходили от старушки, чтоб уж весь вечер ни разу не подойти к ней.

Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее — короткость губы и полуоткрытый рот — казались ее особенною,

1 самая обворожительная женщина в Петербурге.

2 моей тетушкой?

собственно ее красотой. Всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скупающим, мрачным молодым людям казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней и видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый.

Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с рабочей сумочкой на руке и, весело оправляя платье, села на диван, около серебряного самовара, как будто все, что она ни делала, было *partie de plaisir*<sup>1</sup> для нее и для всех ее окружавших.

— *J'ai arroté mon ouvrage*<sup>2</sup>, — сказала она, развертывая свой ридиколь и обращаясь ко всем вместе.

— Смотрите, *Annette, ne me jouez pas un mauvais tour*, — обратилась она к хозяйке. — *Vous m'avez écrit, que c'était une toute petite soirée; voyez comme je suis attifée*<sup>3</sup>.

И она развела руками, чтобы показать свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже груди опоясанное широкою лентой.

— *Soyez tranquille, Lise, vous serez toujours la plus jolie*<sup>4</sup>, — отвечала Анна Павловна.

— *Vous savez, mon mari m'abandonne*, — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу, — *il va se faire tuer. Dites moi, pourquoi cette vilaine guerre*<sup>5</sup>, — сказала она князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, к красивой Элен.

— *Quelle délicieuse personne, que cette petite princesse!*<sup>6</sup> — сказал князь Василий тихо Анне Павловне.

1 увеселение.

2 Я захватила работу.

3 не сыграйте со мной злой шутки; вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер. Видите, как я укутана.

4 Будьте покойны, Лиза, вы все-таки будете лучше всех.

5 Вы знаете, мой муж покидает меня. Идет на смерть. Скажите, зачем эта гадкая война.

6 Что за милая особа, эта маленькая княгиня.

Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя действительно Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной.

— C'est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d'être venu voir une pauvre malade<sup>1</sup>, — сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тетюшкой, к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь маленькой княгине, как близкой знакомой, и подошел к тетюшке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тетюшки о здоровье ее величества, отошел от нее, Анна Павловна испуганно остановила его словами:

— Вы не знаете аббата Морио? Он очень интересный человек... — сказала она.

— Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно...

— Вы думаете?... — сказала Анна Павловна, чтобы сказать

1 Очень мило с вашей стороны, мосье Пьер, что вы приехали навестить бедную больную.

что-нибудь и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел; теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера.

— Мы после поговорим, — сказала Анна Павловна улыбаясь.

И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, — так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот все виден был в ней особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошел послушать то, что говорилось около Мортемара, и отошел к другому кружку, где говорил аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он видел в России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он все боялся пропустить умные разговоры, которые он может услышать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он все ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец он подошел к Морию. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это любят молодые люди.



## III

Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. Кроме *ma tante*, около которой сидела только одна пожилая дама с исплаканным, худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, общество разбилось на три кружка. В одном, более мужском, центром был аббат; в другом, молодом, — красавица княжна Элен, дочь князя Василия, и хорошенькая, румяная, слишком полная по своей молодости, маленькая княгиня Болконская. В третьем — Мортемар и Анна Павловна.

Виконт был миловидный, с мягкими чертами и приемами, молодой человек, очевидно, считавший себя знаменитостью, но, по благовоспитанности, скромно предоставлявший пользоваться собой тому обществу, в котором он находился. Анна Павловна, очевидно, угощала им своих гостей. Как хороший метрдотель подает как нечто сверхъестественно-прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидеть его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно-утонченное. В кружке Мортемара заговорили тотчас об убиении герцога Энгиенского. Виконт сказал, что герцог Энгиенский погиб от своего великодушия и что были особенные причины озлобления Бонапарта.

— Ah! *voions. Contez-nous cela, vicomte*, — сказала Анна Павловна, с радостью чувствуя, как чем-то à la Louis XV отзывалась эта фраза, — *contez-nous cela, vicomte*<sup>1</sup>.

Виконт поклонился в знак покорности и учтиво улыбнулся. Анна Павловна сделала круг около виконта и пригласила всех слушать его рассказ.

— *Le vicomte a été personnellement connu de monseigneur*<sup>2</sup>, — шепнула Анна Павловна одному. — *Le vicomte est un parfait*

1 Ах, да! Расскажите нам это, виконт... напоминаящим Людовика XV.

2 Виконт был лично знаком с герцогом.